

БРАТОВЬЯ

Когда Максиму сказали, что родной брат его Матвей Павлович сильно занемог и даже может помереть, он опешил, с мысли сбился: ведь вчера еще сидели на бревнышках у дома и вспоминали молодость, Матвей даже чересчур веселый был, все над Максимом шпакурил, выводил из себя.

– Скажи, Макся, ты с Нюркой Маленькой спал?

– Ак нюшь! И с Нюркой спал, и с сестрой ее Марфой.

– А когда? Ну-ка, вспомни, в каком году это было?

Максим занервничал, он не любил, когда его подначивали:

– «В каком году!». Да я разве всех упомяну. Ну, до войны.

– Врешь. Я в войну к ей похаживал, интересовался про тебя, она отперлась, говорит, и рядом не сидел.

Максим опять психанул:

– Твою мать! Да я ее как сейчас помню, я же азартный был до фронта, а она тухтя, гундит – ни хрена не понять. И пониже пупка у нее большая бородавка, ты себе ничего не натер?

Мужики хохотали, поддерживая Максима, его доводы оказались основательными, Матвей как-то про бородавку не вспомнил.

И вот на тебе, лежит без памяти, баба говорит, ночью забухтел не понять чего, вскрикнул и кинулся с кровати, прямо на пол упал, пена со рта. Сбегали за медичкой, она уколов наставила, утром машину директор совхоза дал, загрузили мужика, как мешок отходов, так без ума и повезли.

Максим сидел на тех же бревнышках, что и вчера, майское солнце согревало, он отстегнул деревяшку, которую носил вместо протеза, привезенного из Омска, уж больно тяжелый и неловкий делали ему протез. Максим через год ездил в Омск на примерку в протезную мастерскую только потому, что дорогу ему сельсовет оплачивал, а он к другу своему фронтовому заезжал, вспоминали, выпивали и плакали о молодости и друзьях. Протезов у него в казенке висело штук шесть, а носил самодельный, выстроганный из березы. С торца приколачивал кусок грубой резины, чтобы не скользить, деревяшка оставляла след что на снежной дороге, что на грунтовой, потому сынишка по заданию матери всегда легко его находил, если мать подозревала, что Максим где-то остаканился.

Они с Матвеем хоть и братовья, но не шибко роднились, Максим на восемь лет старше, до войны раза три женился, да все не впрок. Первую свадьбу сыграли по-настоящему, правда, без венчания, к тому времени церковь уже прикрыли, а попа отправили на Урал лес пилить, но отец Павел Михайлович благословил, невесту принял. Только Макся на первой же неделе заявил молодухе, что жить с ней не будет, мол, не рассчитывай, а сам на вечерки стал похаживать, после ужина, бывало, скажет:

– Пойду к Ивану Лаврентьевичу в карты поиграть.

И утянется, до первых петухов прогостюет, потом явится. Отец как-то и встретил его:

– Ты где, сукин ты сын, шлялся? У тебя жена или кто? И чтоб я больше не слышал, что она ночью зубами от горя скричат! – Да и вытянул женатика широким сыромятным ремнем так, что рубаха к телу прикипела, Максим взревел, выскочила нянька Анна, старшая сестра, запричитала над кровью, а просеченную рубаху снять не может, пришлось самогонкой отмачивать, заодно и пострадавшему налила стаканчик.

Потом еще пытался обзавестись, да, видно, не судьба, одна сама ушла, другую проводил, так что на фронт холостячком отправился, это на четвертом-то десятке.

А Матвей дома остался, хотя его год призвали сразу: болезнь у него приключилась какая-то, не то ноги отнимались, не то мочился неудержимо, Макся так и не понял, когда вернулся из Саратовского госпиталя без ноги уже после победы. Матвей жил самостоятельно семьей, работал в колхозе на завидной должности объездчика, соблюдал колхозную собственность, чтобы мужик где лишний прокос для своей коровки не сделал, чтобы баба колосков в подоле с поля не принесла, чтобы ребятишки не мяли хлеба, когда бродили по первым от деревни лескам в поисках сорочьих гнезд, саранок и пучек.

Максиму определили третью группу инвалидности, она называлась рабочей, потому зимой он ходил за овечками, а с весны до глубокой осени ночами сторожил оставленную в поле колхозную технику, чтобы кто не побаловался. При нем была лошадка с ходочком, как и у брательника, но с братом совет не брал, а когда мать померла, и вовсе чужими стали.

За Максимом закрепилось прозвище «Родной», в деревне редко кто без клички живет, Максим тоже остер на язык, многих наградил кликухами, да и сам не избежал. Макся свое прозвище не любил, обидное оно, оскорбительное, пошло от частушки, которую кто-то во злобе сочинил: «На горе стоит осина...», дальше такая гадость, про холстяную рубаху: «Он в рубахе холстяной», и заканчивался ехидно: «Помогай, Максим родной!». Частушку пели, Максим иногда с юмором воспринимал, а однажды братец исполнил, едва его отобрали, за горло ухватил с обиды, мог и не упустить.

Вот Пашку Лукина он перекрестил, прилипла кличка, как новое имя. Дело было в выборы, выбора, как в деревне говорят, большой праздник, в клубе торговля сладостями и колбасой, к тому времени стали уже пиво бочковое завозить, вовсе колготня. Кто «отдал свой голос», отоваривались в очередь и садились в зале на скамейки вдоль стен, встречали входящих, обсуждали. На стенах портреты висят, члены и кандидаты, Ворошилов тоже, из-за медалей лица не видать. Пришел голосовать и Павел Лукин, механизатор, росточком мал, а до работы жадный, когда целину осваивали, месяцами в тракторе жил, все пахал, дали ему за это аж две медали, одну «За освоение», другую «За доблесть». Паша на выборах явился в пиджаке с медалями, да еще значки ГТО и ДОСААФ нацепил. Макся тут же сидел, сказали, что то ли концерт будет, то ли комедию какую покажут. Когда Паша вошел в зал, Макся аж подскочил:

– Ты гляди, ну чисто Ворошилов, Пашка-то!

Все, с тех пор спроси Лукина, не каждый скажет, а Ворошилов – пожалуйста, это Пашка. Пашка не обижался, даже помогал Максиму крышу на избе дерном перекрыть. Давно это было. Максим тяжело вздохнул.

Вон Манаэль идет, с утренней разнарядки в конторе совхоза, инженер. Максим хоть и пострадал на фронте, но к немцам относился без обиды, и старый Яков Кауц, и школьный учитель безногий после трудармии Эмиль, и сосед Эммануил Григорьевич, по-уличному Манаэль, были почти товарищи, и по рюмке доводилось поднимать. Манаэля он сильно уважал, вот безграмотный совсем, а любую машину соберет иотрегулирует. Когда Максиму первую инвалидную мотоколяску дали, что-то случилось, скорости перестали включаться. Манаэль велел прикатить к мастерской поломку, а вечером на ней приехал, едва не раздавив, потому что весу в нем было не меньше восьми пудов, и показал Максиму, что вот этим рычагом надо включать и выключать, а скоростей сколь вперед, столь и назад. Смех, конечно, но Максим помнил.

– Доброе здоровье, Максим Павлович!

– Здорово, Манаэль Григорьевич!

– Что с братом случилось?

– Не знаю. Пал с кровати и память отлетела. Не от того, что пал, наверно, как думаешь?

– Да уж не от того, понятно. Поедешь проведовать?

– Позже, потом, дай оклематься, а сейчас лежит, как чурка, кого около его делать?

– Макся, а если помрет?

– Ну, стало быть, не жилец. Да нет, отойдет, не израненный, не изробленный, на добрых кормах всю жисть. Да и моложе меня на восемь годов, он даже до пенсии не дожил.

Эмануил Григорьевич присел на бревно:

– Максим Павлович, а ты смерти боишься?

Максим хохотнул:

– Я только увижу, что она по нашей улице идет, деревяшку надерну и на огороды, и лягой прямо на Голую Гриву, там спрячусь у тетки Апраസിньи.

– С Геннадием помирились?

– Не буду, и чтобы не рисовался в наших краях, а то пришибу.

– Так обидно?

– Ак нюшь, какую статью подвел, засранец!

На Троицу, в престольный праздник, после поминок на кладбище собрались за столом у двоюродного брата Владимира Прокопьевича, совхозного бухгалтера, считай, все свои: Максим, Матвей, Иван Лаврентьевич, Паша Менделев, все с бабами, и Генка, он с Валентиной, сестрой покойной жены Максима, живет, тоже тут. Генка не ловкий парень, по пьянке всякую чушь несет, и вот после третьего стакана стал он разоблачать Максима, что ногу ему не в бою оторвало, а пробило шальной пулей, потому что он ее из окопа высунул, воевать не хотел. Можно было и пропустить, а Максим помушнел, схватил граненый стакан со стола и метнул в Генку. Тот увернулся, это его и спасло, стакан попал в простенок и рассыпался в мелкую крошку. Максим еще что-то сгрёб, но на руке повисли, потом его вытолкали и увели домой.

– Да я на собственной крови примерз к кузову, в полуторку меня забросили после ранения, а там бой, не до меня, а как бой ушел, и все, пропадай. Ладно, что похоронная команда проходила, постонал, двое вернулись, видят, что кровь льдом взялась, один другому говорит: «Оставь его, все равно пропадет». А второй совестливый оказался: «Нельзя», – говорит. – «Седни я брошу, завтра меня кинут». И тащили меня километра два.

Эмануил встал:

– Пойду позавтракаю, и в поле, пшеницу начинаем сеять.

С Матвеем они еще один раз сцепились, из-за травы. Максим каждое утро, возвращаясь с дежурства, подкашивал свежей травы как бы для лошади, но получалась пара хороших навильников, и корове хватало, и телянку. Вот с этой поклажей и остановил Максима колхозный объездчик и учетчик Матвей Павлович:

– Ты, Макся, дуру не гони, каждый день возишь по центнеру, на всю зиму запас. Это все, – он указал на траву в телеге, – выбросишь телятам на базе, я прослежу.

Максим аж подскочил:

– А вот это ты не видел?! – Он выбросил вперед мослатый кукиш. – Ишь, угодник колхозный, начальству двойной тракторной тягой опять по зароду разнотравья отпустишь, а мне свою скотину шумихой да осокой кормить? Хрен тебе, и твоим телятам, все равно они задрищутся.

Матвей метался верхом на кауром мерине, норовя выдернуть Максима из телеги, потом соскочил с лошади и они сцепились. Максим поцарапал брату лицо, Матвей несколько раз ударил брательника кнутом. Максим отбивался сидя, крыл матом:

– Бей, твою мать, бей на убой, что фашисты не добились. Ты всю войну в бутылочку ссал, дак я тебя сейчас кровью умою.

Матвей вовремя одумался, вскочил на коня, отъехал в сторону:

– Максим, не лезь на рожон, сгрузи, как сказал, а нет – посажу.

– За два навильника?

– Колхозная трава. Посажу, есть такой закон.

Максим согласно кивнул:

– У вас на всякого человека статья найдется, это известно. А траву привезу домой, и не вздумай, брательник, с понятыми придти, литовкой всех перережу, во мне кровь чужая, так что за себя не отвечаю.

Матвей невпопад спросил:

– С чего это у тебя кровь чужая?

– А в госпитале мне лили, видно, трофейная, на каждом флаконе фамилия «Донор» написана. Ты бы побоялся меня.

На том разошлись, но Матвей все же написал жалобу, бригадир Иван Моряк приезжал, посмотрел, пожалел Максима:

– Матвей в партию вступил, слышал? Хочет жить по правде. Ты его не зли, времена хоть и переменялись, но можешь сбрыкать за разбазаривание общественной собственности.

– Да, поди, не посадят меня, Иван Васильевич, я же калека, робить не могу, даром кормить будут.

– Ага, пельменей для тебя начальник лагеря будет лепить. Послушай меня, уймись.

Максим унялся, но с братом долго не разговаривал, до беды. После войны он женился, взял молодую бабенку с двумя ребятишками, все его отговаривали: зачем тебе такая обуза, вон сколько девок без женихов, сколько вдов одиноких, бери – не хочу. А он стал к Марии похаживать, и сам удивлялся: все глянется, и в избушке порядочек, и работающая в колхозе, и с виду хоть и невелика ростом, но ладная. Сошлись, в сельсовете оформились, парнишку она родила, но только десять годков и пожил, свернула ее нехорошая болезнь, выюжным мартовским днем свезли на кладбище. Матвей сам пришел, помогал гроб делать и могилу долбить. Без слов помирились, горе сводит.

Опять Максим начал перебирать, за два года не пятерых ли баб приводил, только ничего не получалось, отвозил обратно. Потом присоветовали ему в соседней деревне бабочку, бездетная, покладистая. Съездил, ее с сестрой на смотрины привез, сговорились. Парнишка всех мамами звал, а тут не может себя перебороть, месяца три, наверно, мучился, пока назвал. Потом легче пошло, привязался к женщине и она к нему, своих-то никогда не было. Через год загулял Максим, приехала какая-то краля, а он быка в Заготскот сдал, деньжонки есть, три ночи дома не ночевал. Сынок явился в ту избу и сказал, что уходит он вместе с мамой в ее деревню. Максим заплакал и пришел домой, с тех пор жили более-менее...

Опять про Матвея думка, какая семья была, отец Павел Михайлович, старший брат Никита, нянька Анна, мама Зоя Степановна, да они двое. Бывало, до колхозов, любую работу ломали, отец никому не давал покоя и сам стоя спал. Сено ставили по стогу на голову, а коров держали восемь, лошадей тоже восемь, все с приплодом, овец никто не считал. Зато зимой благодать, глызы почистил в загоне, сена напихал в кормушки, на Гавняшку коров с молодыком проводил на водопой, взрослых лошадей в поводу сводил, молодых опасно отпускать, в бочке воду привозили – и свободен. Бабы шерсть теребят, прядут или вяжут что, а мужики с осени сено возят, по теплу к посевной готовятся.

Макс и восстание помнит против советской власти, когда коммунистов и сочувствующих на пеньки надевали, а потом восставших мужиков расстреливали и ссылали навечно. И как Колчак шел, тоже помнит, у них в доме двое офицеров стояли, одному новые сапоги хромовые сшили, он их на стенку повесил, Максим налюбоваться не мог. Когда красные пошли, офицеры на коней и на край деревни, к церкви, Максим думал: ну, все, отступят белые, а сапоги ему достанутся. Нет, взмокший офицер успел заскочить и сорвать со стенки хромочи. Максим таких никогда не нашивал.

Когда красные пришли, вечером подъехал верхом солдат, кричит:

– Хозяйка, молочка криночку не продашь?

Мать сунула Максимке маленького Сережку, вынесла большую кринку свежего молока. Солдат деньги дает, а она отказывается.

– Деньги примите, – сказал солдатик, как учили, – и запомните, что советская власть даром у народа ничего не берет.

Максим хмыкнул, он того солдатику всю жизнь вспоминал, и когда налогами обложили, и когда в колхоз загоняли, и как пенсию ему назначили за отрезанную ногу, что только и можно было один сапог купить на оставшуюся.

После коллективизации хозяйство упало, от высылки Савелий Степанович, материн брат, спас, он в активе был и первым председателем в колхозе. Война потом подмела всё: отец умер, нянька Анна тоже, Никиту убили, Максим калека, один Матвей был матери на радость. Дом срубил хороший, ребятишек нарожал, мать почитал, не то, что Максим, она ему женитьбы на вдове с сиротами забыть не могла.

Он сидел на бревнышке и прутиком чертил на песке, редкие люди проходили мимо, тихонько здоровались, непривычно тихо им отвечал, без прибауток, без усмешек обычных. Больно и тоскливо было на душе, он почувствовал одиночество, вот двое их от всей породы осталось на свете, а понятия, что одна кровь, так и не усвоили. Нет, надо поехать к Матвею, надо, братьевья ведь.

Иван Моряк остановил свои дрожки посреди дороги:

– Максим, убрался Матвей Павлович, только что позвонили из больницы. Я поеду в столярку гроб закажу, а ты дойди до его бабы, скажи, пусть одежду готовят.

Максим дотянулся до деревяшки и долго приспособливал ремень, глаза застило, слезы катились прямо на рубаху, он неумело стряхивал их, неожиданно подумав, что не плакал очень и очень давно.